

Проскурин

# Петр Проскурин

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В 5-ти ТОМАХ

том  
2

«СОВРЕМЕННОК»  
МОСКВА  
1981

P2  
П82

**Проскурин П. Л.**  
П82      Собрание сочинений в 5-ти томах: Том 2.— М.:  
Современник, 1981.— 542 с.

Во второй том собрания сочинений Петра Проскурина вошли роман «Горькие травы» (1964), в котором автор возвращается к событиям 1945—1953 годов в брянской деревне, к впечатлениям юности, и повесть «Шестая ночь».

П  $\frac{70302-162}{M 106(03)-81}$  — подписное      4702010200

ББК 84 P 7  
P2

© Издательство «Современник», 1981 г., оформление.

---

# ГОРЬКИЕ ТРАВЫ

РОМАН

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мины за год, за два обросли цепкими кореньями бурьянов, минные поля шли сплошняком, на десятки и сотни километров.

Города, превращенные в развалины, под ними опять мины, на месте деревень и сел — пепелища, в пепле, спрессованном дождями и ветром, тоже мины. Фронт откатился на запад, оставив землю в колючих изгородях, рвы и окопы, воронки и мины, они усеивали каждый клочок земли. Тяжелые — противотанковые, сверхчуткие, — взрывались от движения зайца. С сюрпризами — донными и боковыми взрывателями, и десятками соединенных между собой, запрятанных в книгах, в губных гармониках, в тюбиках крема для бритья.

Надписи на щитах у дорог — нельзя сворачивать в сторону.

Пришла весна, оживали обгоревшие деревья, густо зеленели края воронок. В первый же сильный дождь стали оползать траншеи, ячейки, окопы, и где-нибудь в зарослях, возле ненайденного трупа, голубовато-белой россыпью проклевывались подснежники.

Еще недавно по дорогам шло усиленное движение на восток. Теперь движение шло с востока на запад. Колонны автомашин, орудий. Шла пехота. По сторонам дорог — двухметровой высоты бурьян. И только по черневшим кое-где полуразваленным печным трубам можно угадать, что здесь когда-то было селение. Стоило ступить чуть в сторону — и можно встретить полуразвалившийся человеческий скелет с торчащими между костями сухими травами. В черепе красные муравьи устроили немудрящее жилище. А вот... Но нет, дальше нельзя. Дощатый, наспех сколоченный щит предупреждает об опасности, а издали не разглядеть,

С грузовиков, башен танков и орудий солдаты молчаливо поглядывали на бурьян. Солдаты проезжали мимо. Одичавшие, отоцавшие за зиму кошки перебежали дорогу.

Как-то в мягкий предвечерний час на одной из дорог остановилась машина. Чтобы не мешать движению, шофер отвел ее в сторону, насколько позволяли надписи. Невысокий солдат стоял у кабины во весь рост и трудно, напрягая горло, глотал воздух. Правый пустой рукав у него был заткнут за поясной ремень. Он давно стоял вот так, с черной щетиной на скулах, сузив глаза, и глотал воздух. Когда машина остановилась, он, натываясь по-слепому, перелез через высокий решетчатый борт. Осторожно, с недоверием, встал на землю, у самой обочины дороги. Сзади за ним напряженно следили. И даже старшина вышел из кабины, бесшумно притворив за собой дверцу. Все они смотрели на однорукого, а тот пробовал и пробовал землю ногой. Тот словно не верил, что это та самая, по которой он тосковал долгие два с лишним года. Он снял старую рыжую пилотку и вытер ею лицо. Он стоял ко всем спиной, перед ним, насколько глаз хватало, бурьян. Ни голоса, ни дымка, лишь размеренный рокот моторов. Раньше называлось село Зеленой Поляной.

Тихо слезли с машины солдаты, разминаясь, осторожно переступали с места на место. Бурьян тянул к лицу черные стебли. Однорукий услышал, повернулся. Все увидели его покрасневшие, насухо вытертые глаза.

Однорукий шагнул вперед и стал прощаться. По-прежнему молча, до боли сжимая грубые пальцы. Старшина предложил:

— Поедем дальше, браток. Где-нибудь...

Однорукий задержал на нем взгляд, отрицательно качнул головой. Не сговариваясь, солдаты расстелили на землю трофейную плащ-палатку. Однорукий глядел. Несколько буханок хлеба. Одна с откошенным углом. Консервы. Плитки концентрата, приевшегося за последние годы. «Ешь кашу, растолстеешь с Машу». Портянки и мягкое чистое белье. Десяток пачек махорки и несколько коробков спичек. Кто-то рядом с палаткой воткнул большой топор и острую саперную лопату. Однорукий глядел. Его привел в себя голос старшины:

— Ну, брат, держи...

Он взял алюминиевую, сплошь помятую кружку, и к нему протянулось с десяток таких же. Однорукий глядел

на кружки долго. Все ждали. Однорукий хотел что-то сказать, перехватило дыхание — заросший щетиной кадык дернулся, окаменел. Никто не произнес ни слова. Так и молчали. Каждый думал о своем. А через несколько минут машина тронулась. Заклубилась пыль над шляхом. Киевский шлях. Раньше по нему брели на богомолье в святые места.

Однорукий вновь снял пилотку с засаленными краями и подкладкой вытер лицо. Затем нацепил ее на черенок лопаты, шагнул в сторону, обжигая ладонь, выдернул жесткий стебель репейника. И, выпрямившись, замер. Он заметил поднимавшийся над бурьянами синеватый дымок. Напрягая взгляд, долго всматривался, боялся поверить. И потом пошел напрямик, забыв о надписях. С хрустом ломился по бурьяну и ни на что больше не обращал внимания, кроме синеватого дымка, кроме робкой надежды, вспыхнувшей вдруг с сумасшедшей силой. «А если... если...» — стучало в нем, и он уже бежал, и, как это бывает только с пьяными и безумными, он пробежал благополучно через усеянную смертью землю. И еще издали увидел вытоптанное, очищенное от бурьяна место у входа в подвал, превращенную в котелок каску над костром, старика, помещивающего в каске гладко выструганной деревянной ложкой с длинным черенком. Однорукий сбавил шаг и пошел медленней, отводя от себя стебли репейника. Он не глядел под ноги. Глядел на старика. Он узнал его сразу — Матвей-плотник, еще крепкий, костлявый старик. Немецкий офицерский френч топорщился на бугристых плечах.

Старик услышал хруст, повернул голову. Встать не встал и молча дождался, не спеша протянул руку:

— Здорово, Степка.

Словно вчера расстались, только в сумеречных, запавших глазах затеплилась искорка радости.

— Садись, Степка. Повечеряем, чем бог послал.

— Спасибо, дед.— У однорукого сводило скулы.

Наступала ночь, и они не замечали, как все вокруг начинало сереть, расплываться в тени.

— Вот так,— окончил дед Матвей, выскабливая недоваренное пригоревшее пшено.— Все под корень. Мужеский пол с четырнадцати лет в Заречных оврагах, а бабы

с детьми... бог-весть где теперь. Стадом угнали, как овец. Старуха моя там, с ними, и твои, видать... Живы ли?

Ветер доносил весенние терпкие запахи цветущих бурьянов — репейника, чернобыла, полыни.

— Ты вот вернулся, а это что, оставил, значит? — сказал дед Матвей и хмуро кивнул на пустой рукав.

— Сталинград, дед. Вот мы его держали, и руки, ноги... Да что руки, сколько голов пооставляли там, дед... А сейчас и спросишь: повезло тебе или как? — Он хлопнул себя по пустому рукаву. — У меня есть немного, нес домой, думаю, обмоем с Настенькой мое возвращение горькое... Хочешь, дед? — Он потряхнул немецкой фляжкой.

У старика глаз не видно, а солдат все пытается в них заглянуть.

— Ну ладно, — вздохнул Степан, приложился к горлышку, крупно хлебнул несколько раз и протянул деду Матвею: — Бери.

Старик поднял голову, отпил, глубоко вдохнул в себя, посмотрел в костер и еще раз отпил. А потом посмотрел на Степана и сказал:

— Не ты один. Много нас таких. Я в партизанах был. Ни дочерей у меня, ни сыновьев. Видишь, к чему вернулся. Племянник был от младшей сестры, той, что в городе замужем, — пропал. Братья не жили, умирали один за другим, последний в тридцать втором. Одна сестра оставалась, немец повесил. Много для партизан делала. Одна она из нашей семьи и вышла в люди, доктором работала. Племянник пошел связным к фронту, так и сгинул...

— Это Митька, что ль? На лето все к тебе приезжал?

— Толковый был парень... Вспоминается, бывает.

Дед Матвей замолчал и уставился в огонь костра. Степан не стал допытываться, о чем он думал и почему молчал. Не до этого сейчас Степану.

— И почему я живой? Кому нужно? — спросил он вдруг, ощупывая порыжевший от пыли носок сапога, разминая его сильными и грубыми пальцами.

— Хватит тебе, Стенка. Ты радуйся, что вернулся. Тебе жить да жить, — отозвался дед Матвей. — Живой, и ладно. И молчи. Хоть один жив человек появился. А то сижу пнем. Ну, думаю, подожду да и подамся куда-нибудь. А тут гляжу — ломится по бурьяну. Кто такой, думаю. А это ты.

Темнело, свет костра становился ярче, гул моторов,

наоборот, глож. По вечерам еще было сыро по-весеннему и прохладно.

— Туши костер! — донеслось со шляха, по которому и ночью двигался на запад взбаламученный солдатский поток.

Костер погас. Бурьяны кругом сразу придвинулись, запахи стали резче. Когда налетал порыв ветра, до людей доносилось зловоние из забитых трупами недалеких Заречных оврагов.

— Похоронить бы надо по-христиански, — сказал дед Матвей и спросил: — У тебя там, в фляге-то, все?

Степан молча протянул ему флягу с остатком болтавшейся на дне водки.

— Пей, я не хочу, — сказал он, подгребая в кучу затухавшие, подергивающиеся серым налетом угли.

## 1

Год назад начисто отгремели бои. По всей Европе, от Урала до Берлина и дальше.

Три раза зеленели и опадали уцелевшие леса и сады с тех пор, как снова ступил на родную землю однорукий Степан Любов. Три раза выжигали по весне упорно подпимавшиеся на пепелищах бурьяны. Те, кто уцелел, отыскивали семьи, вдовы свыкались со своей участью, сироты подрастали, учились жить. Понемногу возвращалось на старые пепелища уцелевшее население Зеленой Поляны. Из западных областей Украины и Белоруссии, из Польши и Румынии, из Германии и Франции.

Одна девка, черная как смоль, Ленка Перегудова, оказалась каким-то образом, ни мало ни много, в Египте, где чуть не отдала богу душу от жары и где мужиков от баб можно отличить только по бороде, а по одежде — ни-ни, и не думай. Ленку слушали, удивлялись не слишком. Очень уж много было пережито и узнано за эти годы. Многие перестали удивляться, особенно те, кто вернулся из неволи.

И мало-помалу начинала налаживаться жизнь.

Снова и снова прочесывали минеры землю. Снова и снова находили хитро запрятанные мины-ловушки. Казалось, и конца им не будет. И, бывало, разлеталась в клочья драгоценная корова, одна-единственная на все село,

а нередко и человек, уцелевший в десятках боев, умирал на собственном огороде, наткнувшись на мину. Словно для того и вернулся.

Семьи с мужиками рубили избы, а там, где остались одни бабы, копали яму попросторнее, накатывали на нее посылные бревна. И начинали дымить землянки. Работали в колхозе, еще больше приходилось работать дома. Самые предприимчивые ездили куда-то на Украину, возили оттуда лузговые семечки, торговали ими в Осторецке, Орле и Брянске, а то и в Калуге. Привозили вороха денег; на них с большим трудом можно было купить курицу или сапоги.

И на третий год продолжали возвращаться жители в Зеленую Поляну. Вернулись сестры Игнатовы, бездетные молодки,— с них и война как с гуся вода. Вырыли просторную землянку, по вечерам пели на все село, заигрывали с мужиками. Вернулась Марья Фролова с пятеркой мал мала меньше. Всего одного потеряла на дорогах Европы — среднего.

Отсидевший четыре года в немецких концлагерях, доташился до родного села Пахом Косарь. Сидел на солнышке, грел больную грудь. Отрывая от детишек, бабы приносили жидкую похлебку — крупица крупицу догоняла.

— Ешь, Пахом, ешь, голубчик. Теперь каждый мужик дорог, нельзя умирать, живи. Авось выживешь.

Слушал Пахом, застенчиво улыбался, отворачиваясь, стыдливо сплевывал кровью. Что говорить, был Пахом да вышел. Оставил силу свою в каменных карьерах, в подземельях шахт, по лагерям да застенкам. С каждым днем солнце поднималось выше, все тяжелее у Пахома в груди. У Пахома своя дума, свое утешение, и лежать в родной, привычной земле не то что в чужой.

Степану Лобову привалило счастье. Нежданно отыскался единственный сын — десятилетний Егорка. Не думал Степан о такой радости. Сохранила Егорку Марфа, соседка, долго добиралась с Егоркой из далекой Тюрингии, где навечно осталась жена Степана, Егоркина мать. Слушая, Степан скоблил заскорузлым пальцем щетину на подбородке. Соседка рассказывала утомительно подробно про вздувшийся от брюквы живот, про высохшие донельзя ноги и о том, какая на чужбине тяжелая земля и неласковые люди, и в самых неподходящих случаях хихикала и кашляла в кулак. От этого становилось особенно тяжело.

— Дура баба,— сказал дед Матвей, сидевший поодаль от Сепана, встал и, ни слова не говоря, отправился к своей землянке.

2

Человек шел по дороге от города с солдатским вещмешком за спиной, твердым и размеренным шагом. День был воскресный и не достиг еще половины. Хотя в укромных местах держалась роса, дорога пылила.

Человек, одетый легко и бедно, шел с непокрытой головой, грязно-серую шляпу нес в руках. На вид ему можно дать лет двадцать пять, иногда и того меньше. Он худ. Встречные женщины, поймав его безразличный взгляд, долго потом оборачивались, не в силах подавить тревожное, неприятное и болезненное чувство. В последнее время стало много людей с потухшими, мертвыми глазами.

А человек ни о чем не думал. Вчера он сошел с поезда и долго стоял перед развалинами старинного вокзала, отмечая незаметные привычному взгляду мелочи. Торчащий из-под битого кирпича носок сапога. Ржавый осколок в стволе уцелевшей липы со сбитой вершиной. Облепленную землей, раздавленную револьверную гильзу.

Чтобы никому не мешать, он отошел в сторонку, к самым развалинам. Он стоял и ни о чем не думал. На развалинах вокзала выросли молодые деревца. И вдруг он отчетливо ощутил, что это его родной город, в котором он родился и вырос, город, где умер и похоронен отец, где оставалась мать. Жива ли она?

Но тут же он с какой-то обнаженной ясностью почувствовал, что ему все безразлично, и эта мысль тоже была безразличной. И молодые тополя на развалинах, и сами развалины, и небо, и раздавленная гильза под ногами, и гудки паровозов, и он сам. Он даже не знал, зачем вернулся сюда после долгих четырех лет скитаний, эшелонов, решеток, барачков, охранников, чужих городов, чужих людей, побоев, работы, бесконечной, беспросветной, тяжелой работы. Она сломала его. Он не помнил, когда это произошло. Одно время он вдруг просто забыл, как его зовут. В те ночи и во сне он дробил камень, и стук молота для него не прекращался ни на секунду. Он зажимал уши, садился на нарах и невидящими глазами глядел на все вокруг. Никто не обращал на него внимания. В бараке мно-

гие вот так вскакивали, озирались во сне и ничего не видели. В то время он и стал забывать все связанное с прошлым, с детством и юностью. Он стал автоматом и ничем больше. Теперь ему было безразлично и это.

Он опять подумал о матери. Только из-за нее он оказался здесь, в Осторецке.

Развалины громоздились высоко, проржавевшие погнутые балки торчали концами в разные стороны. Он не торопился. Он теперь жалел, что ему пришлось вернуться в этот город. Иначе, правда, было нельзя, вернее, он не хотел другого города. Если есть город, в котором ты родился и вырос, то почему не вернуться? Ведь куда-то все равно нужно возвращаться... Не ему нужно, а другим, и тут ничего не поделаешь. Есть города, в которые необходимо возвращаться. Он смутно понимал сейчас эту жестокую необходимость и хотел, чтобы ее не было. Он хотел, чтобы ее не было, этой необходимости возвращаться. Теперь поздно, он успел вернуться раньше, чем пришла к нему такая мысль. И он почувствовал волнение. У него задергалось правое веко, и все кругом взялось серым. Он подождал, пока чуть-чуть прояснится перед глазами, и прислонился плечом к обломку стены.

— Подожди, братишка, — попросил он проходившего мимо молодого длиннолицего железнодорожника с зеленым фонарем. — Скажи, пожалуйста, какое сегодня число?

— Двадцать четвертое.

— А месяц?

— Май.

Железнодорожник ответил раньше, чем понял необычность вопроса, и пошел и вдруг остановился и посмотрел на человека с солдатским вещмешком.

— Да... Скажи, пожалуйста... год? Какой сейчас год?

Железнодорожник неизвестно почему не разозлился и пожал плечами.

— Сорок шестой...

— Сорок шестой! Скажи! — он долго пытался что-то высчитать, не смог и возбужденно повторил: — Подумать только, сорок шестой!

Время от времени оглядываясь, железнодорожник пошел дальше, потом остановился. Человек с вещмешком сразу забыл о нем.

— Подумать только, сорок шестой!

Он заторопился. Теперь ему не стоялось на месте. Озадаченный железнодорожник видел, как он поправил вещмешок и направился к выходу на привокзальную площадь. Он шел и думал: уже сорок шестой! Подумать только, до каких пор он дожил!

3

Человек с вещмешком не стал садиться в автобус, хотя очень торопился. Он шел полуразрушенными улицами и с трудом их узнавал. Никто не обращал на него внимания, на улицах было много людей с вещмешками. Они всегда куда-то спешили, откуда-то и куда-то направлялись. Кое-где начинали восстанавливать разрушенные дома, кое-где дома были уже отстроены. Часто среди развалин встречались домики, сложенные из листов жести, из досок, кирпичей и бревен. Так называемые индивидуальные застройки. Они даже оживляли сплошные развалины старых каменных домов, они заполняли черные провалы. Послевоенный усталый город, не раз прокатились через него фронты.

Человек не заметил, как подошел к своей улице. Он сразу узнал по огромному магазину в четыре этажа. Массивные, старинной кладки стены не могли разрушить ни снаряды, ни бомбы; обгорев, они выстояли, и в окнах всех четырех этажей зеленела трава. Дом стоял безмолвной каменной коробкой — у людей пока не дошли до него руки. Дальше вся улица лежала в развалинах. Здесь даже не было сооруженных на скорую руку хибарок. И середина улицы здесь не расчищена, сквозь исковерканный асфальт проросла странная бледно-зеленая трава с тонкими и узкими усиками. Человек с вещмешком оглянулся. Ему показалось, что он ошибся и попал куда-то в другой город. Ведь прямо перед ним должен находиться приземистый двухэтажный дом. Их квартира была на втором этаже. Квартира номер шестнадцать. Из двух комнат. Он мог бы поклясться: дом стоял именно здесь, и на втором этаже была шестнадцатая квартира из двух комнат. Он ничего не понимал. Было слишком много всего, чтобы так быстро разобраться. Ему сейчас очень хотелось заплакать. И еще он почувствовал на себе чей-то взгляд. Смотрели сзади. Он оглянулся и увидел старуху в залатанном на локтях немецком френче, в кирзовых сапогах, в юбке, сшитой из

двух цветных лоскутов. Человек вспоминал, где он видел эту старуху раньше. У нее был кривой, заостренный нос, и он не мог вспомнить. Старуха, очевидно, ждала, когда к ней обратятся.

— Здравствуй, бабушка,— сказал он, подходя ближе и опускаясь на груды битых кирпичей. В последний момент он почувствовал сильную усталость.

— Здравствуй, милый.

Пожелтевшие зубы у старухи все целы.

— А из жильцов никого нет? Вон из того дома? — он кивнул на развалины. — Не знаете?

— Жильцов?

Припоминая, старуха посмотрела вверх. В небе ничего не было. Старуха оживилась, обрадовалась.

— И-и, милый, никого. Здесь докторица жила. Галина Ивановна Полякова. Она еще мою внучку Вареньку лечила. В тридцать пятом, помнится. Знаете мою Вареньку?

— Нет, Вареньку я не знаю.

— Моя Варенька теперь в Москве,— с деланным равнодушием сообщила старуха. — Туда работать перевели по комсомольской линии. Понятливая она у нас.

— А сама Полякова?

— И-и, милый... Самой докторицы нет на белом свете. В сорок третьем, зимой... Говорят, с партизанами была в связях, ей памятник сейчас на Центральной площади. Как вешали, народу, говорят, было... Я не пошла, боюсь, как человека убивают, Вареньку мою она вылечила.

Старуха говорила и говорила. И от какого недуга вылечила Вареньку докторица, и все пыталась вспомнить, как называется болезнь по-научному.

Галина Ивановна Полякова. Вот как... ведь и его фамилия Поляков... Он, несомненно, Поляков. Как дважды два. У них у всех одна фамилия. И у матери, и у отца, и у него. Он помнит, как в школе его называли Поляковым. И это взволновало его еще больше. Ему захотелось уйти. А старуха все говорила. Он смотрел на ее рот с крепкими желтыми зубами. Интересно, они вставные?

Старуха жила в одиночестве и обрадовалась случайному собеседнику. Она лишь под конец вспомнила о нем и спросила, не пропавший ли он сын, и он удивленно поглядел на нее и пошел, и старуха огорченно смотрела ему вслед. Она еще не наговорила, а рядом никого не было.

А Полякову было легче сейчас идти, чем стоять или разговаривать. Он так и знал, ничего хорошего не будет. И он с новой силой почувствовал в себе огромную, все подавляющую усталость. Ему захотелось где-нибудь прилечь, и он оглянулся. Действительно, теперь ему было все равно.

А небо над головой было прежним. И развалины кругом — тоже. И люди, идущие мимо. И прохромавшая на трех лапах тощая, с подпаленным боком, грязная дворняга. И галки на старых тополях, и трава, и земля, и дети. Все то же. То же самое.

4

Поляков вышел на Центральную площадь. Здесь было гораздо оживленнее: много людей, много автомобилей.

Он пересек площадь из конца в конец и остановился перед массивной гранитной глыбой, отесанной с лицевой стороны.

Старуха не ошиблась и не соврала.

«Здесь лежат герои нашего города и народа, борцы-подпольщики с немецкими...»

Его поразила длинная надпись, и он долго читал ее, по-детски шевеля губами.

«Полякова Г. И.— 1900—1943 гг.»

Она была первой в списке, и дальше шли одни мужчины, и надписи кончались у самой земли. Нижние были завалены высохшими цветами.

Поляков тупо смотрел на гранитную глыбу. Он сразу забыл, кто такая «Полякова». Просто здесь лежала его мать. Это слово связывалось с чем-то приятным и теплым. К подножию памятника слетелись голуби, потом несколько галок. Он стал смотреть на них. Они непрерывно двигались, и у него зарябило в глазах. Он покачулся, сбросил вещмешок и, волоча его за лямки, обошел памятник и сел прямо на землю, крепко прижавшись спиной к каменному подножию. Он сделал это как раз вовремя. Земля все сильнее раскачивалась перед глазами. Он закрыл глаза и тесно прижался к нагретому солнцем камню, под которым лежала его мать. Раньше перед приступами он сильно пугался и начинал биться и бился до тех пор, пока помнил себя. На этот раз он не испугался. Нет, он

не умрет теперь. Он вернулся, и камень приятно грел спину, а под камнем лежала его мать.

Он быстро уснул. Птицы перестали его бояться, подошли вплотную и чистились рядом с его руками. А люди его не видели. Он лежал за памятником, там, где никто не ходил.

5

Он открыл глаза и сразу увидел невероятно длинного милиционера. Его голова находилась высоко-высоко, и Поляков внимательно ее разглядывал. Рядом с милиционером переминались с ноги на ногу несколько босоногих мальчишек. Поляков видел их ноги в дыпках, худые, исцарапанные и грязные. Он вздохнул и сел.

— Здесь спать не положено,— сказал милиционер с высоты своего роста.— Вставай!

— Почему? — озадаченно спросил Поляков.

— Здесь спят герои. Вставай, вставай, милый.

— Да... А разве нельзя спать рядом с героями?

Милиционер подумал и ответил:

— Нельзя. Это запрещается, милый.— И добавил: — Ты пьяница.

— Почему? — удивленно спросил Поляков.

— Валяешься где попало. Ты, милый, потерял совсем человеческое лицо.

— Значит, пьяница?! — опять удивился Поляков.

Мальчишки захихикали. Голова милиционера вверху закачалась.

— Вставай, вставай, нечего!

— Хорошо. Тебе-то что нужно? — спросил Поляков.

— Мне?

— Да, тебе.

Голова обиженно дернулась.

— Мне нужно, чтобы вы не тыкали. Я общественное лицо и при исполнении обязанностей...

— Вы же сами...

— Прекратить!

Милиционер потребовал документы. Мальчишки перестали хихикать, и Полякову пришлось встать. И только тут он оценил по достоинству рост служителя закона. Разговаривая, Полякову приходилось задирать голову. Это

было неудобно и утомительно, и он почел за лучшее шага на два отступить.

— Вот, возьмите.

Милиционер подозрительно и долго вертел перед глазами свидетельство, выданное Полякову месяц назад, когда его решили наконец отпустить и предупредили, что он должен ехать туда, где жил до войны. Прочитав, что гражданин такой-то, «репатриированный из Германии» и прочее, милиционер спросил:

— Ваша фамилия, гражданин?

— Поляков.

Милиционер заглянул в свидетельство.

— Правильно. Имя?

— Сейчас, одну минуту... Сейчас.— Поляков попытался вспомнить и не смог.— Не знаю.

Милиционер, собиравшийся уже задать новый вопрос, вначале опешил, потом разозлился:

— Что?

— Сейчас... Нет, не знаю, забыл.

— Забыли свое имя?

— Болею я, что-то с головой.

После этих слов мальчишки окончательно примолкли, изменился тон милиционера. Он помедлил и велел Полякову следовать за собой. Тот равнодушно кивнул, привычно вскинул за спину вещмешок и пошел. По дороге милиционер предложил закурить. От дешевых, подмоченных сигарет у Полякова закружилась голова.

— Ты давно не ел? — услышал он и подумал, что действительно давно не ел и даже не может сказать, когда ел в последний раз. Он ничего не ответил. Он видел, как широкая, словно лопата, ладонь милиционера нырнула в карман, вытащила оттуда небольшой сверток и протянула Полякову.

— Что это?

— Возьми, поешь.

Поляков развернул и увидел кусок черного хлеба и сверху тоненький ломтик соленой рыбы и еще сверху кружочек луку. Поляков поглядел на обед милиционера и покачал головой:

— Я не хочу.

— Ешь, не ломайся.

Поляков стал есть хлеб с рыбой на ходу. Милиционер предложил присесть. Они зашли в один из разбитых до-